

Карл Проффер
Без купюр

Carl R. Proffer

The Widows of Russia

Notes for a Memoir
of Joseph Brodsky

Карл Проффер
Без купюр

Литературные вдовы
России

Заметки к воспоминаниям
об Иосифе Бродском

Перевод с английского

ВЛАДИМИРА БАБКОВА И ВИКТОРА ГОЛЫШЕВА



издательство АСТ

Москва

УДК 821.111-94(73)
ББК 84(7Сое)-44
П84

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Эллендея Проффер Тисли благодарит КРИСТИНУ РАЙДЕЛ за редактуру
английского текста.

Проффер, Карл.

П84 Без купюр / КАРЛ ПРОФФЕР ; пер. с англ. В. БАБКОВА, В. ГОЛЫШЕВА. —
Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 288 с.

ISBN 978-5-17-098207-3

В воспоминаниях американского слависта, главы издательства “Ардис” Карла Проффера описаны его встречи с Надеждой Мандельштам, беседы с Еленой Булгаковой, визиты к Лиле Брик. Проффер не успел закончить много из задуманного, и книга о литературных вдовах России была подготовлена и издана его женой Эллендеей Проффер в 1987 году, уже после его смерти, но на русский переведена только сейчас. А заметки об Иосифе Бродском, с которым Карла и Эллендею связывала многолетняя дружба, полностью публикуются впервые.

УДК 821.111-94(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-098207-3

- © Ellendea Proffer Teasley, 2017
- © В. Бабков (“Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском”) перевод на русский язык, 2017
- © В. Голышев (“Литературные вдовы России”), перевод на русский язык, 2017
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
- © ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®

Содержание

*Эллендея Проффер Тисли. Женщины,
смерть и русская литература*7

Литературные вдовы России

Надежда Мандельштам23

Елена Сергеевна Булгакова129

Любовь Евгеньевна Белозерская149

Лиля Брик161

Тамара Иванова181

Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском193

Эллендея Проффер Тисли Женщины, смерть и русская литература

Позвольте вернуть вас в аналоговую эпоху. Летом 1982 года у Карла Проффера неожиданно обнаружили рак толстой кишки и сказали, что ему осталось жить три месяца. Благодаря пяти операциям и радикальной химиотерапии ему удалось прожить два года. За оставшееся время он решил написать эту книгу.

Ни в характере его, ни в биографии ничто не предвещало будущего интереса к русской литературе. Баскетбольная звезда в школе, он в одночасье сделался интеллектуалом. В семье Карла не было гуманитариев, о литературе он знал только то, что могла дать средняя школа на Среднем Западе. В 1950-х годах, когда он поступил в Мичиганский университет, ему надо было выбрать иностранный язык. Будущее нашло его в восем-

надцатилетнем возрасте, когда он стоял перед доской объявлений с образцами языков и впервые увидел русский алфавит. Его внимание привлекла буква “Ж”, похожая на бабочку, и он сказал себе: “Какой интересный алфавит”.

Изучение русского языка, естественно, привело к курсу русской литературы, предмета, о котором он не знал ничего. Карл, до того прочитавший очень мало художественных произведений, соприкоснулся с одной из великих мировых литератур и встретился с Пушкиным, Гоголем, Толстым и Достоевским — все на протяжении одного курса.

Так студент, который с его памятью и великолепной логикой мог бы стать, например, юристом, подпал под обаяние русской литературы и погрузился в нее со страстью. Баскетболист стал интеллектуалом и ученым, но психологически он оставался капитаном команды. Смелость и лидерские качества оказались очень важными в его дальнейших занятиях. Этим объясняется, между прочим, и то, что, не достигнув еще тридцатилетия, Карл вступил в переписку с Набоковым и был уверен в себе настолько, что послал этому известному своей придирчивостью автору рукопись “Ключей к «Лолите»”.

Карл с необычайной быстротой преодолел академическую полосу препятствий: он стал самым молодым доктором философии в университете и в 1972 году — самым молодым профессором. Он был превосходным

преподавателем, переводчиком и исследователем. Был требователен и вместе с тем старался, чтобы занятия у него доставляли удовольствие. Однажды, разбирая со старшекурсниками “Записки из подполья”, он дал пресс-конференцию от лица “подпольного человека”; студентам предлагалось задавать вопросы о чем угодно, а его импровизированные ответы — в соответствии с характером персонажа — были мрачными и параноидальными.

Слава Карла как литературоведа была неожиданной, как и многое в нем самом. По прихоти издательских планов три его книги в разных издательствах вышли одновременно. Это были: исследование сравнений в “Мертвых душах”, перевод подборки писем Гоголя и “Ключи к «Лолите»”. В рецензии лондонского *The Times Literary Supplement* 10 октября 1968 года говорилось, что в русском литературоведении появилось значительное лицо.

Книга Карла о сравнениях у Гоголя, писал рецензент, “явно основана на его докторской диссертации, но диссертация *профферирована*, т. е. увлекательна, энергична, и сквозь ученый аппарат просвечивает энтузиазм и оживленность самого критика... Публикация трех исследований, двух о Гоголе и одного о Набокове, в течение одного года — поразительное достижение для доселе неизвестного ученого”.

Вначале Карл занимался Гоголем и Пушкиным — подробно и глубоко изучал обоих писателей. Со временем он накопил огромное количество знаний обо всех

значительных писателях русского Золотого века. Позже, когда моей темой стал Булгаков, мы вместе переводили его пьесы и рассказы, и он принялся так же подробно изучать русских писателей XX века.

Его работы отличались ясностью, энергией и отсутствием ученого жаргона. И в них видна была уверенность, редкая в молодых исследователях. Он написал “Ключи к «Лолите»”, когда ему не было тридцати, и не смотря на то, что сам Набоков согласился прочесть рукопись, Карл позволил себе в книге такой пассаж:

Есть афоризм, приписываемый знаменитому русскому полководцу Суворову, я процитирую его по записным книжкам князя Вяземского: “Тот уже не хитрый, о котором все говорят, что он хитер”. Его можно метафорически и с полным правом применить к Набокову-художнику. Тайная основа и техническая сторона мастерства Гоголя спрятаны так глубоко, что критику почти невозможно их сколько-нибудь прояснить. Набоков же, кажется иногда, слишком много *думает*, и поэтому его можно анализировать.

В 1971 году мы основали издательство “Ардис”; об этом я написала в предисловии к книге “Бродский среди нас”, так что распространяться об этом здесь не буду. В мире подобных издательств не было: насколько я знаю, это было единственное издательство, печатавшее литературу другого народа (в оригинале и в пе-

реводах) и учрежденное иностранцами, людьми иной культуры.

Одним из первых наших изданий был *Russian Literature Triquarterly* — это была идея Карла и его любимое детище. Образцом для него послужил пушкинский “Современник”, и этот толстый журнал явился своего рода революцией в славистике. В нем печатались переводы, статьи, библиографии, и особый раздел был посвящен текстам и документам на русском языке.

Мы много раз ездили в Россию и познакомились со многими прекрасными писателями и учеными. Уже в 1972 году “Ардис” представлялся надежным местом для публикации за границей и стал играть активную роль в русском литературном процессе. Мы были совсем американцы, и поэтому нельзя сказать, что всегда понимали советский мир (хотя Карл полагал, что чтение Салтыкова и Гоголя — достаточная подготовка), но я бы сказала, что у нас было сильное чувство к людям и к их стране.

Долгие годы застоя и возобновление репрессий привели к полному гражданскому разочарованию. Тем не менее Карл предвидел конец советской тирании, пусть и в отдаленном будущем. Вот цитата из его речи на конференции “третьей волны” в Лос-Анджелесе в 1981 году, когда лишь немногие могли вообразить конец Советского Союза:

ЭЛЛЕНДЕЯ ПРОФФЕР ТИСЛИ

Советская система изменится. Меняется все, и ей этого не избежать, потому что она по сути лжива, посредственна и слаба.

Видеть в советском марксизме почти космическое воплощение зла — значит просто добавлять ей силы. Менее апокалиптический взгляд: СССР — это всего лишь самая большая в мире банановая республика. Как избавляются от диктаторов, присуждающих себе литературные (и разные другие) премии, хорошо известно. Неодостоевские заклинания насчет сил тьмы и опасности чересчур больших свобод для индивидуума не выдерживают критики.

Когда русские вполне это осознают, как поляки, новая революция может случиться чуть ли не вдруг.

Читатели могут удивиться, почему, будучи знаком со многими интересными писателями, Карл решил начать воспоминания с литературных вдов. Ответ будет связан с его отношением к женщинам вообще. Карл провел много времени в обществе соревнующихся мужчин и, может быть, поэтому часто говорил, что женщины лучше мужчин. Он был демократ по своему складу и искренне рассматривал женщин как равных — в то время, когда это признавали отнюдь не все. Его представление о роли женщины в обществе не ограничивалось только русскими делами: в 1982 году, когда у него диагностировали рак, он написал статью о Национальном институте здоровья, единственном месте, где согласились его

оперировать. Эту статью перепечатали многие газеты. В ней он утверждал, что самые важные люди в больнице — медсестры.

Вдовы, описанные в этой книге, отважные хрупкие женщины, бились за то, чтобы сохранить наследие писателей, которым грозило забвение в советской системе принудительной амнезии. Они проявляли героическую преданность и упорство в этой борьбе, и Карл относился к ним со всей внимательностью и уважением, какому заслуживают такие люди.

Одной из главных побудительных причин для написания этой книги было знакомство с Надеждой Мандельштам, вдовой великого поэта, автором двух замечательных книг воспоминаний. Чтобы подружиться с нами, ей пришлось преодолеть страх. Русские, не жившие в то время, могут не понять, как важно было доверять иностранцу, чтобы впустить его в свою жизнь. Нашим друзьям приходилось принимать решение, что они нам доверяют, а нам — быть осмотрительными, чтобы их доверие не обмануть. Нам очень повезло, что Надежда Яковлевна решила нам довериться, — повезло не только потому, что она всех знала и эти люди впускали нас в свой дом, но и потому, что, просто разговаривая с ней за чаем, мы общались к великой погибшей русской культуре начала XX века.

Меня Надежда Яковлевна поняла быстро, а немногословный, не сразу открывавший себя Карл вызывал у нее любопытство. В начале нашего знакомства она спросила его, верит ли он в Бога. Карл ответил, что он агностик, и она была разочарована. Когда мы подарили ей русскую Библию, она была озадачена и спросила Карла, почему он привез ей эту книгу, если сам неверующий. “Потому что для вас она важна”, — сказал он.

За годы поездок мы познакомились со многими русскими литераторами и были огорчены условиями их существования: в лучшем случае под цензурой, в худшем — в тюрьме. Насмотревшись на это вблизи, Карл пришел в ярость. Его трудно было рассердить, но гнев его бывал сильным и действенным: он определенно сыграл роль в нашем решении публиковать то, что не могло быть опубликовано в Советском Союзе, восстановить утраченную библиотеку русской литературы.

Трудно передать, до какой степени была насыщена русской литературой наша жизнь. В Энн-Арборе наши дети на лужайке играли летающей тарелкой с собаками, а в гостиной наши друзья ели пиццу и паковали книги; мысли же наши были заняты Россией и нашей работой для России, такой же реальной для нас, как все в нашем американском существовании. Из Энн-Арбора в Ленинград и Москву 20 лет тянулась невидимая нить, соединявшая нас с советским литературным миром. Рус-

ские писатели — и эмигранты, и советские — посещали нас или останавливались на время; с другими мы непрерывно переписывались.

Иногда мы были вынужденно включены в шумно разлаживающиеся частные жизни — большой источник комизма. За работой в поздние ночные часы родился сумасшедший домашний юмор “Ардиса”: “Конкурс двойников Мариэтты Шагинян” (номинировались и мужчины); конкурс “Найди Книппер на картинке” (*“Find the Knipper in the Picture”*) — надо было выбрать из множества портретов, живописных и фотографических, портрет долгожительницы — вдовы Чехова.

Карл был остроумным человеком с острым чувством абсурда и склонностью к мистификациям. Это проявлялось и в его ученых занятиях. Через много лет после его смерти молодой датский набоковед прислал мне отчаянное письмо: не может найти цитату из “Поминок по Финнегану”, которую Карл приводит в одном из примечаний в “Ключах к «Лолите»”. Такого отрывка в романе и не было. Карл его сочинил, но не на пустом месте: это был такой джойсовски-набоковский абзац, полный намеков на историю нашего знакомства и его ухаживания. Карл был бы доволен, а Набокова позабыло бы, что молодому бедняге датчанину пришлось *два раза* прочесть заумный роман Джойса.

В “Ардисе” мы вступили в своего рода общение и с русскими писателями прошлого — не только современниками, — в особенности с акмеистами и фу-

туристами: собирали их фотографии, переиздавали их книги, писали предисловия для американских читателей. Двадцать семь лет Карл жил американцем в русской литературе. Иногда казалось, что наша жизнь и эта литература находятся во взаимодействии.

Карл доживал последние месяцы и знал это; мне, заканчивавшей книгу о Булгакове, мучительно было писать о смерти Булгакова и страданиях Елены Сергеевны — я сама переживала нечто подобное. Карл в это время много думал о смерти Гоголя.

Трудоголик и вдохновенный учитель, Карл и в эти два последних года операций и химиотерапии как-то находил в себе силы преподавать. Одно из последних занятий было посвящено “Смерти Ивана Ильича” Толстого. Я заехала за ним в университет и спросила, как прошло занятие.

“Я сказал им, что Толстой неправ, что я сам умираю и испытываю совсем не то, что у Толстого. Я умираю не одиноким, вокруг мои друзья и родные, и я чувствую их любовь”.

Потом он засмеялся. “Не думаю, что студенты скоро забудут этот семинар”.

Через четыре месяца, 24 сентября 1984 года он умер, оставив горевать четырех детей, своих родителей, брата, меня и наших друзей в России. Ему было сорок шесть лет.

Сам Карл Проффер был бы удивлен, что эту маленькую книгу перевели на русский. Я знаю, что он собирался делать в жизни дальше. Он хотел написать историю цензуры, а затем новую историю русской литературы — но никакого “дальше” не было, никаких историй, только эта книжка, маленькое приношение русскому читателю, которого сам он не предполагал.

2016

Примечания к тексту

Многое из собранного здесь написано за восемь месяцев перед смертью Карла в сентябре 1984 года. Основанием послужили наши дневники и записи. Профессор Кристина Райдел слегка отредактировала оригинальные тексты, уважая желание автора, чтобы они не были слишком приглажены. В нужных местах я добавила свои примечания.

“Вдовы России” не та книга, какую задумывал автор. Карл хотел написать еще о многих людях, которые были важны для нас, — о Копелевых, Войновиче, Аксенове, Соколове и других. Летом 1984 года он только еще собирал основной материал об Иосифе Бродском, но остановил работу, когда начались ужасные головные боли. Надо подчеркнуть, что часть о Бродском не только не дописана, но и не выверена: есть очевидные ошибки

ЭЛЛЕНДЕЯ ПРОФФЕР ТИСЛИ

в рассказе о событиях, свидетелями которых мы не были сами. Несколько важных отрывков из этих заметок я использовала в моей книге “Бродский среди нас”, так что лишь немного из этой части будет новым для читателя данной книги.

Эллендея Проффер Тисли

Литературные вдовы России

Надежда Мандельштам

Добираться до нее всегда было сложно. Она жила в Новых Черемушках, застроенных новыми уродливыми типовыми домами, выросшими вокруг старой Москвы. Таксисты из центра, хотя и не признавались в этом, лишь смутно представляли себе, как найти Большую Черемушкинскую улицу. Со временем мы запомнили долгую дорогу от Ленинского проспекта до станции метро “Профсоюзная” и дальше, и, по просьбе Н. М. — она боялась слишком заметного визита иностранцев, — высаживались, не доезжая до нее. Перед ее домом, одной из трех одинаковых многоэтажек, “башен” (как она их называла),

проходила трамвайная линия, но прямого трамвая или автобуса из центра не было, поэтому мы всегда приезжали на такси. Надо было перейти рельсы и по разбитой дорожке, губительной для автомобилей, обойти дом к ее подъезду. В подъезде было темно, как во всех московских домах, и попахивало мусором и канализацией. Дверь слева от тесного лифта открывалась в коридор, который вел к ее квартире.

Семнадцатого марта 1969 года, днем, в половине четвертого мы впервые позвонили в ее дверь, сильно сомневаясь, что пришли туда, куда надо. Как всегда впоследствии, было долгое ожидание, затем шарканье ног, дверь приоткрылась на цепочке, голос попросил нас назваться, и дверь наконец открылась окончательно. Маленькая пожилая дама впустила нас, отступив в сторону, и провела на кухню.

Квартира состояла из передней — сразу справа дверь в туалет и ванную — и двух комнат: спальни за дверью слева и кухни справа. И кухня, и спальня смотрели окнами на трамвайную линию. Кухня была размером примерно два метра на четыре с небольшим (раскинув руки, я мог почти достать до обеих стен), а спальня — метров пять на три с половиной. Дом был сравнительно новый, но все уже выглядело

обшарпанным. В первые посещения мы разговаривали почти исключительно на кухне, позже, когда она слегла, сидели у нее в спальне.

В кухне стояли маленькая газовая плита, холодильник, шаткий стол, пара ненадежных складных стульев из дощечек, пара примитивных трехногих табуреток и в углу у окна жесткий диванчик с высокой спинкой — на нем она обычно и сидела с Элендеей. (Там ее сфотографировала в тот период Инге Морат.) Спальня тоже была обставлена скудно: кровать, два столика с лампами, низкий комодик и письменный стол с креслом. На стенах холсты Вейсберга и Биргера, повешены высоко по русскому обыкновению. Телефон с вилкой переносится из комнаты в комнату при необходимости, но обычно его место — в спальне. Там же неизменно вазы с сухими цветами — розогом и другими. Голые лампочки и голые полы тепла не добавляли. Н. М. сознавала, что жилье неуютно, но говорила, что понадобилось проработать всю жизнь, чтобы получить хотя бы это на старости лет. У нее — водопровод и другие удобства, которых она была лишена большую часть жизни, и, относясь к обстановке жилища презрительно, она была рада ему. С тех пор как она покинула отчий кров, у нее не было собственного жи-

ля, настоящего “дома”. Когда она жила с Осипом Мандельштамом, им и комнату трудно было найти, не то что квартиру. А время, когда она преподавала в разных провинциальных заведениях, тоже было кочевым, так что эта квартира стала вершиной ее материальных достижений. По советским меркам квартира была неплоха, но, как и большинство квартир, которые мы повидали в Москве, в американском городе считалась бы бедняцкой.

Н. М. говорила, что у квартиры этой есть еще одно достоинство — здесь обычно тихо, несмотря на трамвай. Правда, пожаловалась, что с наступлением тепла улица становится шумнее. Зимой холод и снег приглушали звуки, это ей нравилось. А Первомай, например, терпеть не могла, не только из-за праздничного шума, но из-за того еще, что он ассоциировался с арестом Мандельштама. Но, по крайней мере, не коммуналка с кухонными шкафами и грязью в общем туалете. Главными шумами, которых она, вероятно, не замечала, были здесь ее собственное тяжелое дыхание и тиканье любимых часов с кукушкой, неутомимо отмечавших каждую четверть часа.

Н. М. была неважной домохозяйкой, но чистоту в квартире поддерживала. Мы уже привыкли

к относительной бедности большинства русских, и все-таки тяжело было видеть ее в столь стесненных обстоятельствах. Как бы ни были бедны наши знакомые русские, они изо всех сил старались, чтобы для гостей на столе были еда и питье. У Н. М. стол был всегда скуден — по той простой причине, что она была бедна. Она не жаловалась, но не думаю, что ей нравилось ее положение и что она была равнодушна к “хорошим” вещам. В общем, из всех знакомых нам писателей она была самой бедной, и бедной была дольше всех — это было продолжением ее жизни с Осипом Манделштамом. Вдовы, чьи мужья при жизни не подверглись гонениям, существовали благополучно. А в тот первый день угощение было типичным: в разномастных кружках крепчайший чай с сантиметром чаинок на дне вдобавок к плавающим на поверхности, сахар в сахарнице, немного хлеба, сыра и, может быть, масло.

За чаем — и разговорами — Н. М. непрерывно курила “Беломор”, папиросы, названные в честь канала, построенного рабским трудом (и с большой помпой) при Сталине, в тридцатые годы. Табак она называла “дерьмом из братских могил” — в память о тех, кто умер на канале. В первый раз она с улыбкой показала на почернелую кастрюлю на полке —

это был “исторический архив”, где спаслось от конфискации много стихов Мандельштама. Улыбка была говорящая — не то чтобы гордая, но и не многозначительная.

Рекомендовал нас ей друг, которому она доверяла — Кларенс Браун, известный специалист по Мандельштаму. В первый наш визит Н. М. немного разыгрывала роль вдовы поэта. Но тогда мы слабо представляли себе, кто такой Мандельштам и кто такая она, поэтому не задавали обычных вопросов, и она поняла, что можно держаться с нами менее официально. О. М. мы знали по нескольким стихотворениям, которые прочли в магистратуре, и для нас все писатели того периода (начала XX века) были такими же мертвыми классиками, как Достоевский и Толстой. Отчасти из-за нашей молодости и неискушенности нам не приходило в голову, что эти писатели чуть ли не наши современники и что люди, знавшие их — и даже жившие с ними, — еще живы. Дело шло к вечеру, Н. М. рассказывала нам о каждом, кого мы называли, все больше увлекая нас и очаровывая.

Она, казалось, знала всех писателей, кого мы могли вспомнить. Особенно поразило нас, что она знала Блока и бывала на собраниях символистов и футуристов (например, в “Бродячей собаке”). Она

вспоминала времена, о которых мы знали только из книг. Мы без конца задавали вопросы, и она без конца нас удивляла — не только самими историями, но и резкостью, независимостью своих суждений о людях и событиях, которые были известны нам только по устаревшим книгам наших славистов. (Надо учесть, что ее книги еще не были напечатаны — а многое из того, что она нам рассказывала, было уже в ее рукописях, — опубликуют их только в 1970 году в Нью-Йорке.)

Она была живая и трогательная, добродушная и озлобленная одновременно. Если она кого-то осуждала, то без горячности, настоящий же гнев пробуждался в ней, когда речь заходила о том, как обращались с О.М. Мы спросили, например, об Исааке Бабеле — на Западе принято было считать, что рассказчик в “Конармии” психологически соответствует автору. Она рассмеялась и сказала, что на самом деле Бабель был совсем не такой, но если читать книгу особенным образом, можно сообразить, каким он был. Он был ярким, умным — и осторожным. Любознательность заводила его на странные дорожки: по приглашению своих друзей-чекистов он наблюдал за допросами в ЧК. Ее это не столько ужасало, сколько печалило. Поскольку Бабель не сделал Ман-

дельштаму ничего плохого, в ее мемуарах об этом не говорится. Несколько раз она заговаривала о том, как революция и гражданская война могут подействовать на людей, которых возбуждает насилие, как в них просыпается кровожадность.

Она и нам задавала много вопросов: об Америке, о том, как мы оказались в Москве, о нашей личной жизни. На нее произвели впечатление внешность Эллендеи и манера. Ей нравились люди, которые говорят что думают, так же, как она сама. Мы с самого начала расположились друг к другу. Ей, по-видимому, понравилось, что мы не русского происхождения, а любим русскую культуру, и что мы не специалисты по Мандельштаму. Ей понравилось, что мы оба пережили разводы, и она утверждала, что вторые браки всегда лучше. Ее настолько интересовали эти подробности личной жизни, что она даже простила нам наше равнодушие к религии — сказала, что “со временем” мы поймем. Поймем важность Бога и религии, сказала она, — “и все, что произошло здесь [в России], произошло из-за этого”. Тогда еще особых признаков религиозности в квартире не было, но православие ее было уже очевидно.

Во второй раз мы привезли ей русскую Библию, которую дал нам Роджер Харрисон, баптист-

ский священник, в то время пастор посольства. У Роджера был большой запас этих запрещенных книг, часто он возил их под старой одеждой в багажнике своего хэтчбека, красной “барракуды”. Роджер рассказал нам, что одного скандинавского студента, учившегося по обмену, выслали из Союза в основном из-за этого. Роджер возил их осмотрительнее. Н. М. не могла понять, почему мы, неверующие, рискуем, везя ей Библию, — но была очень признательна. Из всех полезных подарков, которые мы приносили ей в эти первые посещения, Библиям (мы приносили ей еще) она радовалась больше всего. Она сказала, что первая пошла библеисту, который делал всю работу, не располагая собственной книгой.

В конце нашего двухчасового визита в День святого Патрика в 1969 году она пригласила нас заехать как-нибудь днем еще раз. Она с удовольствием разговаривала по-английски, но жаловалась, что я говорю слишком тихо, а Эллендея слишком быстро. В этот первый раз мы переходили с английского на русский и обратно, и так продолжалось еще несколько лет. Потом здоровье и слух у нее стали сдавать, и большей частью мы беседовали по-русски. Но писала она нам почти всегда на английском и очень ругала себя за ошибки. Самое первое письмо, ноябрьское

1969 года, она закончила так: “Простите за ошибки в правописании... 70 лет — и безграмотная...” Она любила все делать хорошо.

И в 1969 году в ней все еще чувствовалась молодая божественная художница. Можно предположить, что в молодости ее мало заботила материальная сторона жизни и как реагируют люди на ее шокирующий язык и довольно дерзкие высказывания — вкуса к которым она не утратила и теперь. (Большинство знакомых нам пожилых русских женщин — да и не таких уж пожилых — пожились бы или просто сбежали от соленых словечек Н. М.) В ней сохранились еще черты прежней “Наденьки”, начинающей художницы, которая легла с Мандельштамом в постель в первый же день их знакомства.

Интерес к искусству у нее сохранился. Она любила поговорить о Тышлере и художниках десятых и двадцатых годов. Среди особых ее гостей были и современные известные художники, такие, как Владимир Вейсберг и Борис Биргер. У нас создавалось впечатление, что ей нравится напускать их друг на друга. В спальне у нее висела картина Вейсберга — белое на белом, и когда мы были у нее в первый раз, она повела нас посмотреть ее. Вскоре мы познакомились с Биргером — позже он написал портрет Н. М.,

но вряд ли он ей очень нравился: некоторым виделось в нем что-то от ведьмы. Нам же, наоборот, он понравился.

Характерно, что единственным общественным мероприятием, куда она нас пригласила с собой, была первая серьезная выставка Натальи Северцовой — и всего вторая в ее жизни. Северцовой уже было под семьдесят. Выставка занимала зал и коридор Архитектурного музея, поблизости от Ленинской библиотеки. То, что ее устроили здесь, а не в обычной галерее, было знаком, что она не признанный официально художник.

В тот апрельский день 1969 года, когда Н. М. привела нас на выставку, мы поняли, почему ее сделали не в государственной галерее. Работы были выполнены в стиле примитивизма, иногда на грани сюрреалистического в деталях. Ее чудесное чувство юмора едва ли могло порадовать солидных граждан. Много было русских чертей. Советские бани и свадьбы — но большей частью изображенные иронически. Женщины в бане — гротескно толстые и непривлекательные. Адам и Ева под деревом с семью ветвями, на обоих — громадные уродливые советские часы. Портрет советской семьи в том же духе — ближе к сюрреальному миру художника-эми-

гранта Давида Мирецкого, чем к советской эстетике. Ее старик в шляпе выглядел бы социально опозитизированным, но он в компании с бутылкой водки. Зрителям живопись нравилась так же, как нам, и в книге отзывов были одни похвалы.

Н. М. предложила нам сказать Северцовой (ее старой подруге), что будь эта выставка в Соединенных Штатах, она бы вызвала большой интерес. Мы считали так же, и сказать это художнице было нетрудно. Наш комплимент и обрадовал ее, и расстроил — она сказала, что такому никогда не бывать. А когда Н. М. сообщила ей о нашем желании что-нибудь купить, она занервничала. “Я не официальная”, — сказала она извиняющимся тоном. Подумав немного, она сказала, что согласна продать, только не такое, что “они” могут счесть “отрицательным” — как портрет семьи. Она не то чтобы выглядела испуганной, но ясно дала понять, что не может делать все, что ей нравится.

По этому случаю Надежда Яковлевна, принимавшая нас в некрасивых домашних платьях, оделась очень хорошо. На ней была длинная темная шерстяная юбка, изящный свитер и щегольски наброшенный на шею шарф. Эллендея сказала, что она элегантна и наряд определенно выдает в ней художницу.